



В. Ф. ХОДАСЕВИЧ

О Тютчеве

Тютчев был одним из самых замечательных русских людей. Но, как и многие русские люди, он не сознавал своего истинного призвания и места. Гнался за тем, для чего не был рожден, а истинный дар свой не то что не ценил вовсе, но ценил не так и не за то, что в нем было наиболее удивительно.

Он был человек сильных страстей и феноменальной рассеянности. Однако ж нет ничего неожиданного в том, что он вступил в государственную службу. Тогда все служили — даже неистовый Пушкин, даже совершенно мечтательный и невесомый Богданович¹. От всей служебной деятельности Пушкина осталось одно знаменитое донесение о саранче. От Богдановича — и того меньше: в качестве российского дипломата он только и делал, что «бродил по цветущим берегам Эльбы и думал о нимфах». Пушкин кончил жизнь под пистолетным дулом, Богданович — в деревенском уединении, в состоянии как бы тихого и мечтательного помешательства, в обществе кота и петуха², «сих друзей, достойных самого Лафонтена». Словом, не приходится удивляться, что Тютчев служил, и в конце концов служил плохо. Вполне естественно, что его служебная карьера была надломлена в самом расцвете — из-за поступка, вполне подобающего поэту и вовсе не подобающего чиновнику³. Но вот что странно: будучи не весьма исправным чиновником дипломатического ведомства, он всю жизнь рвался к самой активной деятельности именно на этом поприще. И особенно — в те годы, когда он был не у дел, в опале. Служить он не умел, но политические судьбы Европы и России волновали его чрезвычайно, и он хотел в них участвовать не только созерцательно, а и деятельно. В его статьях и письмах — перед нами человек, бурно стремящийся к политическому влиянию и действию. Но — мы все-таки ныне празднуем сто двадцать пятью годов-

щину со дня рождения не политика Тютчева, а поэта. Такова Немезида. На сей раз можно ее назвать милостивой.

Политические воззрения Тютчева, близко примыкающие к славянофильским, преимущественно отражены в статьях «Россия и революция», а также «Папство и римский вопрос». Тут высказан ряд глубоких мыслей — о революции, о христианстве, о западной церкви как политическом учреждении. Эти мысли сохраняют свое философское и религиозное значение. Но нельзя упускать из виду, что в статьях Тютчева они намечены кратко и неполно, потому что призваны служить не более как для беглого обоснования вполне конкретных политических выводов, составляющих истинную цель статей.

Тютчев в этих статьях отнюдь не философ, а дипломат, стремящийся побудить руководителей международной политики (у нас и в Европе) к определенным политическим действиям. И вот тут оказывается, что жизнь очень скоро опровергла если не философские идеи, то реально-политические предвидения Тютчева. Судьбы папства, Франции, Германии, Австрии, Италии в ближайшие же десятилетия стали складываться и не согласно и даже не вопреки его предсказаниям и увещаниям, а совсем, так сказать, по-третьему. Это доказывает, что современную ему политическую обстановку он оценивал неверно. Оказалось, что истинное положение дел и распределение сил в Европе и в России было не таково, каким оно представлялось Тютчеву. Теперь уже нельзя без глубокого смущения читать, например, что в «Европе существуют только две действительных силы — революция и Россия. Эти две силы теперь противопоставлены одна другой, и, быть может, завтра они вступят в борьбу»; что «тысячелетние предчувствия не могут обманывать. Россия, страна верующая, не ощутит недостатка веры в решительную минуту. Она не устрашится величия своего призвания и не отступит перед своим назначением»; что «Запад исчезает, все рушится, все гибнет» в пламени революции, и что «когда над этим громадным крушением мы видим всплывающую святым ковчегом эту империю (Россию), еще более громадную, то кто дерзнет сомневаться в ее призвании» — усмирить революцию... Можно, конечно, думать, что и ныне происходящие события представляют собой не что иное, как борьбу России с революцией, подобно тому как болезнь есть *борьба* организма с проникшей в него инфекцией. Но Тютчев, конечно, имел в виду совсем не такую парадоксальную форму борьбы: он меньше всего допускал, что Россия станет перерабатывать революцию внутри своего собственного организма. Напротив,

считал ее как бы обладающей врожденным иммунитетом и именно потому от природы приспособленной и предназначенной на борьбу с революционной заразой.

Не менее смущают и такие утверждения Тютчева, как, например: «Богемия будет свободна и независима, полноправной хозяйкой у себя дома лишь в тот день, когда Россия вступит вновь в обладание Галицией». Немало был бы разочарован Тютчев, если бы узнал, что, вопреки его построениям, волею истории, независимости чехов, словаков, сербов суждено быть закрепленной не с высоты «всеславянского престола», но как раз после того, как этот престол опустеет.

Рассказы о том, будто Тютчев вовсе не придавал значения своим стихам, преувеличены. Но он действительно более хотел быть политиком, чем поэтом. Вся жизнь так и не собрался издать свои стихи под собственным наблюдением. Из них наиболее придавал значения политическим, которые разделяют судьбу его статей, потому что тесно связаны с ними. История их не оправдала.

Хуже того: при всех достоинствах, они далеко уступают «чистой» лирике Тютчева. В них мысль иногда только облечена в стихотворную форму, но не слита с ней воедино. Напротив, ею тяготится, готова ее разорвать, разрушить. Нечаянные и, так сказать, невзвешенные прозаизмы, слишком тяжелые по отношению к общей «массе» стихотворения, порой ведут к таким образцам неуклюжести, каких в неполитических стихах зрелого Тютчева мы не сыщем.

«Ватиканская годовщина», два стихотворения «Славянам», «Гильфердингу», «Императору Александру II», «Британский леопард», «Тогда лишь в полном торжестве» — это еще далеко не полный список вымученных пьес, которым эквивалентов среди неполитических стихов Тютчева не найдется. Замечательно: плоды продуманной политической системы, эти стихи о вполне реальных предметах, имеющие вполне реальную цель, — порою бессильны в полноте выразить ту самую мысль, которая их породила. Они в этом смысле косноязычны. Другое дело — стихи о *неизъяснимом*: тут, и только тут, Тютчев становится истинным и великим мастером.

В поэзии Пушкина мир чаще всего является молодым, стройным, сияющим. Но и для Пушкина он не есть непроницаемая полированная поверхность. Подобно Баратынскому, очень ведомы были и Пушкину тайные «изгибы сердец», а в мире не все для него было гармонией и не все ограничивалось очевидностью. Проникал он в те области, где уже вняты и «неба содро-

ганье, и горний ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольней лозы прозябанье»⁴. Но — сказать ли? Сам Пушкин не обрел до конца тех звуков, коими выражается *подобное*.

Отчасти потому-то и вызывает его поэзия такие споры, что улавливать, открывать у Пушкина эти звуки так заманчиво — и так трудно. Пушкин многое смутное еще только рвался понимать, многое было еще неизъяснимо на его языке:

Парки бабье лепетанье,
Жизни мышья беготня —
Что тревожишь ты меня?

Я понять тебя хочу,
Темный твой язык учу...⁵

Кажется, это сопоставление не ново, но оно верно. Тютчев был весь охвачен тем, что Пушкина еще только *тревожило*; он стал понимать то, что Пушкин только еще *хотел* понять. Язык, которому Пушкин еще только *учился*, Тютчев уже знал. Он научился ощущать и передавать то, что раньше было неуловимо, неизъяснимо. Он нашел слова, которых Пушкин только еще искал. А ведь подумать только: он был всего на четыре года моложе Пушкина — и на одиннадцать лет старше Лермонтова! Тютчев пришел так давно, так рано, что русская поэзия не сразу сумела его расслышать — как долго не слышала она и «лепетания Парки» у самого Пушкина. Она долго не следовала за Тютчевым, не принимала его влияния. Этим и объясняется его запоздалая слава, все еще, может быть, неполная.

Аксаков рассказывает: «Первым делом Тютчева, по мере того, как он стал приходить в сознание (после апоплексического удара), было — ощупать свой ум. Жить — значило для него мыслить, и с первым, еще слабым возвратом сил, его мысль задвигалась, заиграла и засверкала, как бы тешась своей живучестью».

Всю жизнь он действительно тешился сверкающей игрой своего ума, гнался за ясностью мысли, за ее стройностью. Но своего истинного и исключительного величия достигал, когда внезапно открывалось ему то, чего «умом не понять», когда на дневной ум, но «ночная душа» вдруг начинала жадно внимать любимой повести

Про древний хаос, про родимый!

В шуме ночного ветра и в иных голосах природы он услышал страшные вести из древнего Хаоса, как сигналы, подаваемые с далекой родины.

В ту пору, когда сам Тютчев еще не был «открыт», составители хрестоматий и антологий рекомендовали его как «выдающегося описателя природы». Но для того, чтобы понимать его как «описателя», приходилось в его стихах не замечать главного, проходить мимо того, что лежало под кажущейся поверхностью «описания». Иногда поступали с варварской наивностью: просто зачеркивали то, что было истинным предметом стихотворения и для чего «картина природы» служила только мотивировкой или подготовкой. Так, знаменитое стихотворение «Люблю грозу в начале мая» сплошь и рядом печаталось без последней строфы, важнейшей для тютчевского замысла, но «неподходящей» и «лишней» для любителей описательства.

Тютчев никогда не падает до описательства, никогда не предается «констатации» явлений. Ищущим «описаний» он говорит прямо:

Не то, что мните вы, природа —
 Не слепок, не бездушный лик.
 В ней есть душа, в ней есть свобода,
 В ней есть любовь, в ней есть язык.

Только ради того, чтобы услышать этот язык, как «голос матери самой», обращается он к природе. И что бы она ни говорила — в конце концов, подо всем, Тютчев слышит в ней голос Хаоса.

В мире сменяется день и ночь. Но для Тютчева не ночь покрывает природу, а, наоборот, день есть «златотканый покров», наброшенный над «безымянной бездной». Природа — только узор этого тканья. Настает ночь — и благодатный успокоительный покров исчезает, бездна под ним обнажается «с своими страхами и мглами».

Изоощренный слух и изоощренное зрение приводят Тютчева к одному: к разрушению «невозмутимого строя» во всем, к нарушению «созвучья полного в природе» — к обнажению бездны, родины всего сущего. И ночь, и «ветр ночной» равно страшны тем, что они уничтожают преграду меж человеком и этой родинной.

Но вот вопрос: где же благо? В гармонии природы или в лежащем под нею хаосе? В «покрове» или в «бездне»? Только ли день обольщает и утешает своим обманом, или он есть истинное прибежище? Нахождение человека в природе — есть ли это изгнание из Хаоса или спасение от него? И, наконец, что такое тоска по Хаосу: возвышение или падение?

Тютчев ответа не нашел. Он чувствовал себя навсегда раздвоенным. Вещая душа его вечно билась «на пороге как бы двойного бытия». Несомненно было одно для него: что человек не прикреплен до конца ни к тому, ни к другому. Страстное желание слиться с природой, благословить ее всю чередовалось с неутолимой и нескрываемою тоской по родине. Тютчев боялся этого, а все-таки для него не было ничего упоительнее прикосновения к Хаосу, хотя бы ценой собственного уничтожения. Он поклонялся природе — и чувствовал себя в ней «сиротой бездомным». Вечно роптал, сознавая разлад с природой:

Душа не то поет, что море.

Разрешением этих мук могла быть вера в начало высшее, примиряющее все, хотя бы непостижимое для ума. Этого утешения Тютчев жаждал и, думаю, — находил его в Боге.

От неясных, мучительных, но все же, по его собственному гордому признанию, *пророческих* снов находил он прибежище не в философском преодолении и не в лирическом изживании разлада, но в религиозном возвышении *над* ним:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

Этой *готовностью* Тютчев дорожил. Даже считал ее исполненной — но все-таки иногда терял ее, отпадал. Однажды, точно проговорившись или точно это вырвали у него пыткой, он написал ясно:

Мужайся, сердце, до конца:
И нет в творении Творца,
И смысла нет в мольбе!

Больше ни разу об этом не заикнулся. Христианство положил в основу тех своих политических воззрений, во имя которых воительствовал, боролся...

Он всю жизнь философствовал. Но мысль была для него тоже «златотканым покрывалом» над бездной пророческих снов, подавляющего, но величественного *беспамятства*, духовного Хаоса. Оттуда к нему доносились любимые голоса непостижимого, невыразимого. Любил темную, хаотическую природу души. Не страшился любить само зло — за то, что оно *таинственно и незримо* разлито во всем. Зло предельное, худшее смерти, самоубийство, он сблизили с величайшим добром, с любовью, и упивался этим сближением:

И в мире нет четы прекрасней,
И обаянья нет ужасней
Ей предающего сердца.

Он стремился устроить дела Европы, но в Хаосе он понимал больше. В душе камергера высочайшего двора жили «уснувшие бури».

Им было суждено проснуться. Хаос «зашевелился». Все как-то сорвалось разом. Тютчеву уже было под пятьдесят, когда охватила его любовь, слепая, избыточная, неодолимая, — к Е. Денисьевой, молодой девушке, классной даме того института, где учились его дочери. Благополучная жизнь, с таким трудом налаженная, карьера, насилу-то восстановленная, общественное мнение, которым он дорожил, дружеские связи, политические замыслы, сама семья, наконец, — все пошло прахом. Четырнадцать лет, с 1850 по 1864 год, «пуще пламенного гнева» бушевала эта любовная буря. Тютчев терзался и терзал. Надорвался сам и довел до могилы свою возлюбленную. После ее смерти жил в оцепенении, в «страдальческом застое». Душа его «изнывала» и «сохла». Тютчев словно ослеп от горя и мудрости. «Низенький, худенький старичок, с длинными, отставшими от висков, поседелыми волосами, которые никогда не приглаживались, одетый небрежно, ни на одну пуговицу не застегнутый, как надо, вот он входит в ярко освещенную залу. Музыка гремит, бал кружится в полном разгаре... Старичок пробирается нетвердой поступью вдоль стены, держа шляпу, которая сейчас, кажется, упадет из его рук...»⁶

Сквозь кружение бала что видели его старые глаза? Что вещей слух слышал за этой музыкой? Где был он душой?

Вот бреду я вдоль большой дороги
В тихом свете гаснущего дня.
Тяжело мне, замирают ноги!
Друг мой милый, видишь ли меня?

Он умер 15 июля 1873 года, как раз в двадцать третью годовщину того «блаженно-рокового дня», когда начался его роман с Денисьевой. Перед смертью «лицо его внезапно приняло какое-то особенное выражение торжественности и ужаса».

